

БРОДЯЧАЯ
СОВАКА

Я трамвайная вишенка страшной поры...

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
— Ты побудь со мной сначала, —
Верность плакала в ночи, —

Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя...

— Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!
1915

«ИЗ ТАБОРА УЛИЦЫ ТЕМНОЙ...»
Я буду метаться по табору улицы
темной
За веткой черемухи в черной рессорной
кажете,
За капором снега, за вечным
за мельничным шумом...

Я только запомнил каштановых
прядей осечки,
Придымленных горечью — нет,
с муравьиной кислинкой,
От них на губах остается янтарная
сухость.

В такие минуты и воздух мне кажется
карим,
И кольца зрачков одеваются
выпущкой светлой;
И то, что я знаю о яблочной розовой
коже...

Но все же скрипели извозчиных
санок полозья,
В плетенку рогожи глядели колючие
звезды,
И били вразрядку копыта
по клавишам мерзлым.
И только и свету, что в звездной
колючей неправде,
А жизнь проплывает театрального
капора пеной,
И некому молвить: «Из табора улицы
темной...».

1925

ДЕКАБРИСТ

— Тому свидетельство языческий
сенат, —
Сии дела не умирают! —
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.
Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири
И вычурный чубук у ядовитых губ,

Сказавших правду в скорбном мире.
Шумели в первый раз германские дубы.
Европа плакала в тенетах.
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.
Бывало, голубой в стаканах пунш горит,
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько гозорит,
Вольнолюбивая гитара.

О. Э. Мандельштам. Силуэт работы
Е. Кругликовой.

— Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

1917

КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ

Нельзя дышать, и твердь кишит
червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами.
Дрожит вокзал от пенья Аонид.
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Не каждая редакция может похвастать-
ся, что в ее стенах работал гений. Слиш-
ком мало гениев выходит на арену исто-
рии. Но один из них точно работал в ре-
дакционных стенах. Это были стены «Мос-
ковского комсомольца» 1929—1930 годов,
когда сотрудником нашей молодежной га-
зеты был Осип Эмильевич Мандельштам,
выдающийся русский поэт и мыслитель.
Беззаботные минуты его жизни кончи-
лись, поэт медленно, но верно переходил
в изгой, в число многих интеллигентов на-
чальной советской поры, гонимых вла-
стью, ненавидимых продажными коллега-
ми, мелкими писателями именно за свою
гениальность. Много ли надо для ненави-
сти? А тут достойный повод... Служба в
«МК» была, может быть, последней тихой
заводью поэта, пусть по-своему нелегкой
и неподходящей, но все же еще мирной,
с гарантированным пайком (уже почти
«пайкой», которая светила в перспекти-
вах советской истории миллионам ни в
чем не повинных людей), давала поэту и
его мужественной спутнице — жене и
подруге Надежде Яковлевне — хоть ми-
нимум житейского благополучия. Поэты то-
же в этом нуждаются и хотя бы здесь по-
хожи на всех остальных людей.

Он написал стихи о Сталине и этим под-
писал свой смертный приговор. Он пони-
мал это. Известно, что, прочитав на лю-
дях стихи о «кремлевском горце», поэт
сказал: «К смерти я готов...». Он знал,
что в империи большевиков за правду
расплачиваются жестоко. Но он все же хо-
тел жить, поэтому после замаскированных
репрессий, после судов и высылки пытал-
ся спастись, написал несколько униженных

Огромный парк. Вокзала шар
стеклянный.
Железный мир опять заморожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это — сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала.
Скрипичный строй в смятении и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках —
Где под стеклянным небом ночевала
Родная речь в кочующих толпах...

И мнится мне: весь в музыке и пене,
Железный мир так нищенски дрожит,
В стеклянные я упираюсь сени.
Горячий пар зрачки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит!

1921

стихотворений, адресуясь к власти неесте-
ственным для него слогом, но замолить
безжалостный режим внешним смирением
ему не удалось. Он сам писал о том, что
«власть отвратительна, как руки брадо-
брея...». Осип Мандельштам метался, бед-
ствовал, сходил с ума и писал об этом.
Он был, как и все настоящие поэты, аб-
солютно беззащитен. «Я трамвайная ви-
шенка страшной поры...» — как-то обмол-
вился он.

Многие не предполагали истинного
масштаба этой личности. Однако Илья
Эренбург еще в 1921 году написал о Ман-
дельштаме: «Он один понял пафос собы-
тий. Мужья голосили, а маленький хлопот-
ун петербургских и других кофеен, по-
стигнув масштаб происходящего, величие
истории, творимой после Баха и готики,
прославил безумие современности». Здесь
все точно сказано — все, что ждет
поэта, и все, что ему предстоит, определе-
но безумием революции. Волны ее захле-
стнули и нас с вами, сначала развалив
СССР, а теперь смертельно раскачивая
Россию. Но и об этом Мандельштам уже
молвил свое слово: «Ну что ж, попробуем:
огромный неуклюжий, скрипучий поворот
руля... мы будем помнить и в летейской
стуже, что десяти небес нам стоила зем-
ля...». Он заплатил за эту землю страш-
ную цену и умер в лагере для уголовни-
ков, осужденный за контрреволюционную
деятельность. Осталось его поэтическое
время.

Войдем в бессмертное время Мандель-
штама.

С. МНАЦАКАНЯН,
член Мандельштамовского общества.

ЛЕНИНГРАД

Я вернулся в мой город, знакомый
до слез,
До прожилков, до детских припухлых
желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных
фонарей.
Узнавай же скорее декабрьский денек.
Где к злобещему дегтю подмешан
желток.

Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найдут мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей
дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь, 1930.

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди, —
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

О. Э. Мандельштам. Рисунок
В. Милашевского. 1932 год.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну а мне — соленой пеной
По губам.

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли —
Все равно:
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди. —
Ангел мой.

2 марта, 1931.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомним кривлевого горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь,
кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.
Ноябрь, 1933.

За гремящую доблесть грядущих
веков,
За высокое племя людей, —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Чтоб не видеть ни труса,
ни хлипкой грязи,
Ни кровавых костей в колесе:
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
17—18 марта, 1931, конец 1935.

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня или проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь, —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон,
нож...

Апрель, 1935.

Колот ресницы. В груди прикипела
слеза.
Чую без страху, что будет и будет
гроза.

Кто-то чудной меня что-то торопит
забыть.
Душно — и все-таки до смерти
хочется жить.

С нар приподнявшись на первый
раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню
поэт

В час, как полоской заря
над острогом встает.